



Валентин НЕПОМНЯЩИЙ

Под небом голубым

«Пророк» и его автор. К истории отношений



Пушкин А. С.

07.99

XV ФИЛАРЕТ

Когда в январе 1830 года Е.М.Хитрово известила Пушкина о том, что "Дар напрасный, дар случайный" ("Северные цветы" на 1830 год) прочел и отвечает на них стихами митрополит Московский, он, по-видимому, растерялся; это видно из его развязного, почти наглого ответа: он не может сегодня быть у нее, "хотя одного любопытства было бы достаточно, чтобы привлечь меня. Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! — это право большая удача" (первая половина января, ориг. по-франц.). Чтобы понять степень развязности, нужно хотя бы то знать, что "большая удача" (*une bonne fortune*) на светском языке означает большой успех у особы прекрасного пола. Последнее время все его учат, все указывают ему, что можно и чего нельзя, он уже получил целый ряд выговоров от начальства — и вот заранее ошестинивается; но из бравады, с ее шутковским самоуничижением ("скептические куплеты"), как раз и выглядывает растерянность: что он там написал?

Положение и впрямь было опасное и, что того хуже, неловкое: человек, который мог при желании стереть его в порошок за новое (вспомним, что письмо о "Гавриилиаде" лежит у царя) богохульство (Булгарин уже успел где-то вякнуть на эту тему), первоверх Русской Церкви, рангом равный, по существу, местоблюстителю Патриарха (при отсутствии патриаршества, уничтоженного Петром) и обладающий соответственным непререкаемым авторитетом, — этот человек величественно снисходит к нему со стихотворением! К чему бы это? и что там, в этих стихах? и — что немало важно — какковы сами стихи, в ответ на которые нужно будет непременно как-то поступить?

Через какие-то дни он эти стихи получил — не знаем, как это было, — и прочел:

**Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана.
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.**

**Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.**

**Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум,
И соизждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.**

Мне почему-то кажется, что первым делом он испытал облегчение: стихи были хорошие. Не шедевр — но отнюдь не благочестивая графомания. Более того: они были искусны и в каком-то смысле остроумны. Наследуя традиции древней церковной учености (в которую входила и версификация), автор великолепно воспроизвел структуру, лексику и рифмовку стихотворения "Дар напрасный, дар случайный", но сменил его смысловую ось; а в конце напомнил своему адресату тот самый, Покаянный, псалом, противостояние которому было неважной осью "Воспоминания" — это пролога к стихам о даре (хотя знал ли он "Воспоминания", читал ли?). В "Воспоминании" был сдвинут с места и перевернут на голову псалом пророка Давида, в стихах о даре то же было сделано с "Пророком" Пушкина; автор ответа разом, властно и простоудушно, перевернул и поставил на место и то и другое.

Само содержание ответа вряд ли было открытием для Пушкина: все, что было в нем сказано, он мог сказать, да собственно уже и сказал себе сам — больше года назад был написан (еще не напечатан) "Анчар", месяц назад — "Монастырь на Казбеке". Но ведь именно так и звучал ответ — как ответ себе самому, а не поучение со стороны! Словно автор в душу ему заглянул.

Тут и было, думаю, потрясение: прозорливостью и тактом. Вообще — поступком. Когда в своем ответе "В часы забав или праздной скуки" он говорит про "поток слез нежданных", здесь нет лукавства. Судя по цитированной записке Елизавете Михайловне, такого он и в самом деле никак не ждал. Его не обвинили в богохульстве, как обвиняли Иова его друзья, ему не прочли нотацию, не сделали выговора — с ним поступили так, как поступил с Иовом Господь, со всею твердостью поставивший его на место — "Ты хочешь ниспровергнуть суд

Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?" (Иов, 40, 3), — но простивший и благословивший: ведь все свои речи Иов обращал прямо к Всевышнему, говорил с живым Богом; и за веру Бог оправдал его.

Подобие такого же прямого обращения к Богу и услышал в бунтарских, богохульных стихах о даре напрасном и "враждебной власти" автор ответа на них. Вера, по ап. Павлу, есть "удостоверение в уповаемом и уверенность в невидимом" (Евр., 11, 1). "Уверенность в невидимом", как уже говорилось, у Пушкина была едва ли не отродясь, — а вот с упованием бывает всегда труднее, оно требует духовных усилий. Не жажду ли такого усилия, не потребность ли в уповании, скрытую в парадоксальной, оидозной форме, прозрел в стихотворении Пушкина святитель Московский, выдающийся церковный деятель и христианский мыслитель, великий проповедник, "отец русского богословия" (В.Н.Лосский), а ныне иже во святых отец наш Филарет?

Ходили слухи, что он нравом крут и чуть ли ни жесток, — впрочем, распространены они были более в светских кругах, чем в церковных, где без строгости и нельзя, — но вот свидетельствует мирянина: "Как кротко выслушивал он мои мнимо-философские лжеубеждения! Как мирно возражал он на все нелепости, бережно прикасаясь к молодому самолюбию и осторожно умеряя во мне гордость безумия. Другие на его месте, изюста 99, с гневом удалились бы от меня. Но он... вынес мой бред и терпеливо подлаивал мало-помалу подпорки моего полудеизма, полуматериализма, фатализма и т.д.". Это относится как раз к концу 20-х годов.

Акт сострадания — вот, думаю, то главное, что на Пушкина, с его впечатлительностью, горячей отзывчивостью на малейшее участие, всякое доброе слово или движение души, должно было произвести глубочайшее впечатление в стихах и самом поступке Филарета. Его расслышали, верно поняли, ему протянули руку — и откуда! Верховный пастырь, без чьего благословения Синод не принимал ни одного важного решения (хотя Филарет покинул Синод), нелицеприятный к сильным мира, в том числе и к государю, вынул его воплю о помощи, спустился со своей высоты, умилился до второстепенного стихотворца и приблизился к нему с увещанием — понимая, по всей вероятности, что здесь случай простой и человек непростой — избранный человек, нужный Богу, Отечеству и людям.

Стихи митрополита Московского были прочитаны Пушкиным в первой половине — середине января 1830 года. Ответ, "В часы забав или праздной скуки", датирован 19 января. Здесь нет той дистанции времени, которая, как правило, нужна ему, особенно в серьезных случаях, чтобы воплощать переживаемое не в гуще его, а хотя бы на шаг отступая ("Прошла любовь, явилась муза"). Это стихи, написанные врасплох. Советское — и либеральное — мнение о них кислое: они недостаточно для Пушкина хороши, в строках о "струне лукавой", о слезах и "ранах совести", о "чистом елее" и "священном ужасе", во всем слышат звон лукавой струны, принужденность, искусственность, не смущаясь тем, что в итоге выходит самый непотребный цинизм — не в стихах, а в поступке. Спорить нетрудно, но

бесполезно: все это и в самом деле можно прочесть — и даже неизбежно так прочесть — при одном простом условии: если не верить (в любом смысле этого слова и в обоих вместе).

В ином случае, то есть в случае веры, — стихи прекрасны каким-то "нежданным" как "слезы", юношески возвышенным простодушием, не успевшим спрятать себя (не случайно реминисценция юношеского "Безверия": "И мощная к нему рука с дарами мира не простирается из-за пределов мира" — "И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты"); прекрасны даже и очевидной громоздкой неуклюжестью пассажа "Творим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует", в котором, как и в "арфе серафима", явственно прочитывается и язык, и возрожденный смысл "Пророка" с его пустыней мрачной и углем пылающим; ясно, что через Филарета ответ обращен дальше и выше: "Когда твой голос величавый Меня внезапно поража!" — о том же, о чем: "И Бога глас ко мне воззвал".

"Из, чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой" (Иона, 2, 3).

Вообще с этим стихотворением неуютно тем, для кого поэзия Пушкина — лишь (или прежде всего) совершенное художество. Это стихотворение — прежде всего факт его жизни, а не художества. Верить же ему или не верить — это уже по части жизни нашей собственной.

Впрочем, в известной мере это относится и к большинству стихотворений, которые разобраны в этих заметках, особенно к основным, в том числе в первую очередь к "Пророку". Если не верить, что "Пророк" написан о себе, а не является лишь живописной картиной в библейском духе, — тогда все внутренние связи между стихами 1826–28 годов, показанные здесь, мною выдуманы.

Как мы помним, вскоре после окончания дела о "Гавриилиаде" (написанной, кстати, Великим Постом 1821 года) и "Анчара", перебеленного 9 ноября 1828 года, он впервые видит Наталью Гончарову. Спустя неполных три месяца после ответа Филарету, весной 1830 года, Великим Постом (6 апреля), он получает согласие на брак с нею; помолвка совершается через месяц, 6 мая, на Пасху.

"...И знала рай в объятиях моих", — скажет Вальсингам о Матильде, глядящей на него с небес. Наталья Николаевна такого рая еще не знает. Тем не менее как раз об объятиях написано стихотворение, по общепринятой традиции относимое именно к ней: самое интимное, самое откровенное, едва ли не бесстыдное (во всяком случае, не менее в своем роде смелое, чем эротика "Гавриилиады"); стихотворение, являющееся в то же время последним эротическим и вообще любовным стихотворением Пушкина и датируемое во всех списках (автографа нет) 19 января 1830 года, тем самым днем, каким датирован ответ Филарету.

**XVI
"НЕТ, Я НЕ ДОРОЖУ МЯТЕЖНЫМ
НАСЛАЖДЕНЬЕМ"**

"В сущности, перед нами подробнейшее, чисто физиологическое описание полового акта. А между тем читаешь — и изумляешься

ся: "какое-произошло волшебство, что грязное неприличие и голая физиология претворились в такую чистую, глубоко целомудренную красоту?"

Соседство — в пределах одного дня — двух таких стихотворений каждый может толковать в меру своих жизненных представлений. Но вот что точно смущало людей, так это вопрос о годе: может быть, все-таки это не 1830? Ведь тогда не только о браке — и о помолвке речи еще не было, и ничего такого между поэтом и предметом его страсти быть не могло. Если бы могло — тогда прощай брак: тут Пушкин был человек серьезный. Тогда как же? Ведь стихи-то — вот они, в них все рассказано...

И вот в одном из списков 1830 целомудренно заменено на 1831 (свадьба, однако, состоялась только в феврале 1831; была попытка — у П.Ефремова — датировать и 1832-м). В другом списке стихи адресуются "Прелестнице", еще в одном названы "Антологическим стихотворением". В иных — твердо: "Жене" (а она еще и не невеста, если это 1830).

Все это от привычки думать, что лирика Пушкина — "отражение" действительности: сначала было в "биографии", потом "отразилось" в поэзии ("автобиографичность").

Но ведь это заблуждение. Совершенно необязательно, чтобы "было". "Во тьме твои глаза блистают предо мною" и прочее, создающее почти физическое ощущение присутствия возлюбленной, — на самом деле только плод воображения:

"Ночь" — это стихи не о ночи любви, это стихи о том, как он ночью пишет стихи о любви, — и только. И вообще, у него есть прямая декларация, которую почему-то никто не воспринял всерьез:

**...все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после муза оживила...**

Это из первой главы "Онегина" (а курсив мой). Для того, чтобы "милый предмет" был воплощен в стихах, ему вовсе необязательно наличествовать в действительности, он может быть поэтом воображен, музой "оживлен" — и так начать существовать, и мы думаем, что он есть на самом деле; здесь, думаю, природа мифа об "угаенной любви".

То же можно сказать и об акте любви: он может быть воплощен в стихах, не имея места в действительности. Ничего странного в этом нет, дело обычное; просто у непоэтов это бывает не в стихах.

Пушкину, поэту, тут на память может прийти Пигмалион: вообразил (изобразил) — полюбил — оживил. Он и припоминается автору "Онегина" и его музе, когда они сочиняют IV главу романа (строфы о женщинах, в окончательный текст не вошедшие):

**Все в ней алкало слез и стона,
Питалось кровию моею...
То вдруг я мрамор видел в ней
Перед мольбой Пигмалиона
Еще холодный и немой,
Но вскоре жаркий и живой.**

(Продолжение.
Начало в №№19-20, 21,22, 23, 24)



Прямое предвосхищение "Нет, я не дорожу..."

Здесь — "вамп", а там будет "змия"; здесь — "Перед мольбой Пигмалиона" — там "...склоняясь на долгие моления"; здесь "мрамор... холодный и немой", там "стыдливо холодна... Едва ответствуешь..."; здесь — "вскоре жаркий и живой", там "И разгораешься..."

Предвосхищение — не только исчерпывающее, но и объясняющее: акт любви — не всякой, а такой и своей — приравнивается Пушкиным к акту творчества; "я" — художник, любовью оживляющий холодную статую. "Смиреница" здесь — нечто вроде белого листа бумаги.

(Между прочим, Пушкин, более чем в полтора раза старший Наташи Гончаровой, будет относиться к ней, уже жене, если и не совсем как к белому листу, то во всяком случае как к существу, которое надо еще воспитать, создать как женщину и личность).

Сверх этого, рельефно выступает одна из магистральных пушкинских тем глубокого метафизического значения: оппозиция двух типов женщин — страстного (Зарема) и кроткого (Мария). Впрочем, не только женщины: демонического и ангельского начал в человеке.

Или вот еще сопоставление:

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением,
Восторгом чувственным, безумством,
Безумством, иступленьем...

"Нет; решительно нет: восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного" ("Возражение на статьи Кюхельбекера в "Мнемозине"), — отвечает он "критику", который "смешивает вдохновение с восторгом". Как вдохновение предпочитается им восторгу, так "смиреница" для него "милее" "вакханки".

Значит, "эротика", сама по себе, — вовсе не главное в этих стихах; и для их появления совершенно необязательно было наличие житейского основания; "теория отражения" искусством "действительности" (случилось в жизни — "отразилось" в искусстве) применительно к Пушкину не очень-то работает. Его стихи не "отражают", даже и не "выражают" жизнь — даже и духовную, — а образуют и строят ее. И что "первичнее" здесь: фактическая материя внешней жизни или дух жизни внутренней, — это еще вопрос; да и вопрос ли?

Так что можно не сомневаться: "Нет, я не дорожу..." написано 19 января 1830 года, когда между ними ничего еще не могло быть. Просто он увидел или угадал в ней вот эту "смиреницу" — и запечатлел угадку в стихах. В его выборе это был очень важный момент. Он увидел в этой девочке ту ипостась своей многоликой музы, которая стала ему, в пору его зрелости, дороже и милее всего. Ведь в этом же году он пишет восьмую главу романа, где музу юности, что "как Вакханочка резвилась", сме-

няет "барышня уездная" "С печальной душою в очах".

Вот и выходит, что это стихотворение — интимнейшая личная (а не "антологическая") лирика, ни на чем житейском не основанная, рожденная "единством и теснотой стихового ряда" (Тынянов) его внутренней жизни. И не "вообще" внутренней, а — творческой.

Здесь опять возникает пигмалионова тень, "греческая" тема.

Недавно — спасибо Олегу Чухонцеву, с которым у нас как-то вышел разговор об этом стихотворении, — я разыскал читанную когда-то, даже цитированную (см.: "Поэзия и судьба, раздел "Космос Пушкина"), но нелепо затем забытую мною статью Н.М.Ботвинник, где убедительно показано: "Нет, я не дорожу..." — реплика в поэтическом диалоге.

Диалог — с Батюшковым, он давний, с молодых лет, и продолжается сейчас, в 30-е годы. Есть у Батюшкова, в цикле "Из греческой антологии", вольное переложение по-русски французского перевода, сделанного С.С.Уваровым, тогда еще членом "Арзамаса", из греческого поэта Павла Силендиария (VI в.): в стихотворении которого любовная опытность женщины в летах предпочитается "цветущей свежести" молодых красавиц. С пятой своей строки батюшковские стихи ("Тебе ль оплакивать утрату юных дней") выглядят так:

Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в тайнах любовного искусства.
Без жизни взор ее стыдливый и немой,

И робкий поцалуй без чувства.
Но ты, владычица любви,

Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнью в крови.

Достаточно положить эти стихи рядом с пушкинским "Нет, я не дорожу мятежным наслаждением", чтобы согласиться с Н.М.Ботвинник: "Пушкин своим стихотворением прямо возражает Батюшкову". В самом деле, Пушкин все поменял местами: "пламень" у него исходит не от женщины, а от "я", и "дорожит" он как раз "неопытной красой". И такая перестановка происходит не в первый раз. Кажется, он уже спорил с Батюшковым — тогда, в строках о Пигмалионе. Пигмалион оживляет "мрамор", а у Батюшкова в этой роли "владычица любви", оживляющая "мертвый камень", то есть "меня". У батюшковской "владычицы любви" пламень течет "с жизнью в крови", а у Пушкина — "Все в ней... питалось кровию моею".

И вот теперь Пушкин снова вступает в старый спор. И вовсе не из "любви к искусству" — скорее из любви к правде: правде о любви. Спор с Батюшковым — спор об истинных ценностях в любви. У того "любовь" и "страсть" — синонимы; и та и другая равно тождественны чувственному наслаждению и им исчерпываются; "любовь" начинается с сексуального возбуждения и с ним же заканчивается; отсутствие "любовного искусства" равно отсутствию любви. Пушкина же как раз отсутствие "искусства" пленяет и умиляет: "О как милее ты..."; поздний Пушкин не "искусство" любит, а чистоту, ему нужна не готовая страсть, а любовь, свободная от страсти, сама любовь, собственно любовь, из которой страсть высекается, как из кремня, его любовью.

У позднего Пушкина первична любовь — страсть вторична. В споре с Батюшковым он утверждает иную иерархию ценностей.

Оттого строки о "вакханке" завершаются определением чисто физиологическим, нагруженным семантикой отрицательной, "болезненной" — но пушкинскому же слову; "миг последних содроганий" — так можно сказать и о миге смерти; близость эроса телесного со смертью — один из важнейших пушкинских мотивов (вспомнить "Сцену из Фауста" или "Каменного гостя"). Последние же строки — "И разгораешься потом все боле, боле, И делишь наконец мой пламень поневоле" — это не конец, а начало, не смерть, а возникновение, рождение, жизнь ("И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута — и стихи свободно потекут")... "Дремавший" корабль плывет, холодный мрамор оживает. "В эротическом" стихотворении обнаруживается единство двух уже названных основных, по С.Л.Франку, "мотивов... религиозности поэта": "чувства божественности любви" (любви, а не страсти) и ощущения божественности своего творческого дара, чуда вдохновения.

Два стихотворения помечены одним днем, 19 января 1830 года. Завершение их — кто знает — разделяется, быть может, какими-нибудь часами:

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением,

Восторгом чувственным
Безумством, иступленьем...

О как милее ты, смиренница моя...

И разгораешься потом все боле, боле,
И делишь наконец мой пламень...

...Бывало лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

...И силой кроткой и любовной
Смиряться буйные мечты.

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак...

Две темы излагаются почти одним языком. Религиозное чувство говорит языком любви, и наоборот: как в "Песни песней".

Второе стихотворение, прямо обращенное к ней (теперь уже невесте), отделено от "Нет, я не дорожу..." четырьмя месяцами; но в пространстве первой половины 1830 года, занятом всего лишь каким-нибудь десятком "значущих" стихотворений, они выглядят близкими соседями.

Тем более близкими, что это второе стихотворение, по моему убеждению, тоже восходит к Батюшкову. Мало того: к тому стихотворению Батюшкова, которое в цикле "Из греческой антологии" непосредственно предшествует стихам о "владычице любви" — тем самым, с которыми Пушкин спорит в "Нет, я не дорожу...", Н.М.Ботвинник, впрочем, сближает с этим батюшковским стихотворением (его первая строка: "В Лаисе нравится улыбка на устах") совсем другие пушкинские стихи, давние, 1819 года, "Дорида"; и совершенно справедливо сближает:

Батюшков

В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры
Я в сумерки вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцалуюм к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал...

Я таял, и Лаиса млела...
Но вдруг уныла, побледнела
И — слезы градом из очей!

...Я мыслю была встревожена:
одною
Вы все обманчивы, и я... тебя
страшусь".

Пушкин

В Дориде нравится и локонны златые,
И бледное лицо, и очи голубые.
Вчера, друзей моих оставя
пир ночной,
В ее объятиях я негу пил
душой;
Восторги быстрые восторгами
сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова
разгорались;
Я таял; но среди неверной
темноты
Другие милые мне выдвинулись
черты,
И весь я полон был таинственной
печали, —
И имя чуждое уста мои
шептали.

"Сюжет" один и тот же, но во второй своей половине он видится по-разному: у Батюшкова — со стороны "ее", у Пушкина — с "его": "та же тема, — замечает автор статьи, — развивается как бы "для мужского голоса".

"Дорида", повторяю, это 1819 год. Думаю, что "имя чуждое", приходящее на уста в объятиях Дориды (так будет в "Кавказском пленнике": "В объятиях подруги страстной Как тяжко мыслить о другой!"), означает не совсем то, чего боится батюшковская Лаиса ("Вы все обманчивы..."): это зарождается пушкинский лирический миф: "утаенная любовь" — единственная, неповторимая, идеальная, почти нездешняя. Не лишне заметить, что в этом же 1819 году впервые поэтически воплощается и тема дома, домашнего очага, семьи — в стихотво-



рении "Домовому".

К чему я все это говорю? А к тому, что теперь, в 1830 году, на пороге Дома, Пушкин снова возвращается к диалогу с Батюшковым — но теперь уже прямо повторяет ситуацию его стихотворения ("Но вдруг уныла, побледнела... Вы все обманчивы..." и проч.), и это происходит в стихах, обращенных к невесте:

Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю

Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недозверчивой улыбкой.
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участия и вниманья
Уныло слушаешь меня.

(Разумеется, слухи о его прошлой жизни, "Измен печальные преданья", не могли не доходить до нее.) И дальше следует пламенное покаяние:

Клянусь коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Клянусь речей влюбленный шепот...
и проч.

Два пушкинских, обращенных к Н.Н., стихотворения параллельны двум подряд батюшковским. И сами они идут почти подряд. Между ними ("Нет, я не дорожу..." и "Когда в объятия мои") — всего четыре завершенных стихотворения.

Из них два — "на случай" (эпиграмма "Не то беда, что ты поляк" и "Новоселье"), одно — монументальное "К вельможе", где автор в своем орлином полете над всею Европой и ее историей не забывает все же о "прелести Гончаровой", и одно... странное, особенно в том контексте, который я здесь пытаюсь обрисовать; да и вообще какое-то не очень для Пушкина характерное.

Продолжение в следующих номерах